

DOI 10.25991/AE.2019.48.15.005
УДК 82–32

Гавриш Т. Р.

Гавриш Татьяна Ростиславовна — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН
ligeia1838@yandex.ru

ФИЛОСОФИЯ ВЫБОРА СМЕРТИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. ГОРЬКОГО «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»)

Жизнь как постоянный процесс самопознания — характерная черта большинства рефлексивных героев «Жизни Клима Самгина». Познание — концепт, которому Горький придавал особенное значение. В его переписке и — параллельно — в итоговом произведении Горький формулирует идею «третьего инстинкта» — инстинкта познания, реализация которого позволит человеку осознать смысл и цель существования. Акцентируемая в романе Горького внутренняя потребность человека в поиске себя является органичной для многих героев произведения, несмотря на возможную безуспешность поиска и трагичный финал ищущего. Идея подлинного драматизма самопознания получает развитие, в частности, как идея самоубийства. Самоубийство разных героев «Жизни Клима Самгина» может принимать различные внутренние формы — отчуждение человека и его фактическая гибель (осознанный суицид или срежиссированная смерть) или вынужденное пребывание в экзистенциальной ситуации. Вероятное завершение судьбы Клима Самгина может быть подобно остальным.

Ключевые слова: самопознание, «инстинкт познания», осмысление реальности, смысл жизни, драматизм самопознания, самоубийство, экзистенциальная ситуация.

Gavriš T. R.

PHILOSOPHY OF CHOOSING DEATH

(based on «The Life of Klim Samgin» by Maxim Gorky)

Life as a constant process of self-knowledge is a characteristic feature of the most reflective heroes of «The Life of Klim Samgin». Cognition is a concept to which Gorky attached special importance. In his correspondence and — in parallel — in the final work Gorky formulates the idea of the «third instinct» — the instinct of knowledge, the implementation of which will allow a person to realize the meaning and purpose of existence. The inner need of a person to find himself, accentuated in Gorky's novel, is organic for many heroes of the work, despite the possible failure of the search and the tragic finale of the seeker. The idea of true drama of self-knowledge is developed in particular as the idea of suicide. Suicide of different heroes of «The Life of Klim Samgin» can take different internal forms — alienation of the person and his actual death (the realized suicide or the directed death) or compelled stay in an existential situation. The likely conclusion of the fate of Klim Samgin may be like the others.

Keywords: self-knowledge, «instinct of knowledge», understanding of reality, meaning of life, drama of self-knowledge, suicide, existential situation.

Одна из самых значимых личностных характеристик героев «Жизни Клима Самгина» — непрерывный внутренний поиск. «Человек беспокоится потому, что ищет себя. Хочет быть самим собой, быть в любой момент верным самому себе. Стремится к внутренней гармонии», — говорит Самгин Валентину Безбедову (2, с. 344). Попытки самоопределения заполняют едва ли не самую значительную часть личностного пространства большинства изображённых писателем персонажей — таких, как Самгин, Лютов, Тагильский, Макаров, Безбедов и многие другие.

Горький-художник, мыслитель, читатель, критик придавал идее познания концептуальное значение. Его герои, их рефлексия, выбор пути и в итоге завершённая или незавершённая судьба способствуют тому, чтобы «взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — ещё раз — о цели и смысле бытия», как писал Горький С. Т. Григорьеву 15 марта 1926 г. «Мне кажется, — продолжал писатель, — что даже и не через сто лет, а гораздо скорей жизнь будет несравненно трагичнее той, коя терзает нас теперь».

Трагизм современной жизни автор «Жизни Клима Самгина» соотносит с духовными, интеллектуальными, социальными потрясениями и катастрофами рубежа XIX–XX веков и начала нового столетия. Жизнь «будет трагичней потому, что — как всегда это бывает вслед за катастрофами социальными — люди, уставшие от оскорбительных толчков извне, обязаны и принуждены будут взглянуть в свой внутренний мир, задуматься — ещё раз — о цели и смысле бытия. Таковых людей народится неисчислимо более того числа, кое ныне существует на земле. Думается мне, что уже и теперь у людей возникает, зарождается новый инстинкт — «инстинкт познания». Имейте в виду: я говорю не о тревоге разума, свойственной некоторым холоднокровным Шопенгауэрам и Гартманам, не об увлекательной игре логикой, а именно об инстинкте», — резюмирует Горький (3, с. 20).

Очевидно, писатель имел в виду совершенно иной, нежели на предыдущих этапах развития индивидуального и общественного сознания, абсолютно новый подход к проблеме понимания сущности

бытия, когда поиск этой сущности принимает характер изначально данного импульса, характер — более того — органический, когда существование человеческой личности невозможно без реализации потребности знать, «зачем жить». «...мы живём всё ещё в хаосе и сами частицы хаоса», — писал Горький К. А. Федину 28 января 1926 г. Ощущение хаотичности, бессмысленности, бесцельности бытия, возможно, и есть, с точки зрения Горького, первичный импульс к зарождению «третьего инстинкта» и — как следствие — к возможности достижения гармонии человека с миром. «Жили мы — и живём до сего дня — инстинктом голода, откуда истекло всё, именуемое цивилизацией, инстинктом любви, создавшим всё, что мы зовём культурой, и вот находимся накануне возникновения третьего инстинкта, который неизбежно должен возникнуть на почве всех наших трагических разочарований. Вообразите, что будет, если десятки и сотни тысяч людей восплают страстью догадаться не о том, как удобнее жить, а о том — зачем жить. Вот что я думаю. Это одна из тем моего романа, над коим сижу» (3, с. 20–21). Идея «третьего инстинкта», инстинкта познания, разрабатывается учителем Клима философом Томилиным на одном из этапов эволюции этого образа. «Там какой-то рыжий человек читал нечто вроде лекции “Об инстинкте познания”, кажется? Нет, “О третьем инстинкте”, но это именно инстинкт познания. Я — невежда в философии, но — мне понравилось: он доказывал, что познание такая же сила, как любовь и голод. Я никогда не слышала этого... в такой форме», — рассказывает Самгина Елизавета Спивак (21–385).

Осознание человеком трагического противоречия между фактом собственного несовершенства и стремлением постичь высший смысл существования — вопрос, всегда занимавший Горького. «Чорт побери все пороки человека вместе с его добродетелями, — не этим он значителен и дорог мне, — дорог он своей волей к жизни, своим чудовищным упрямством быть чем-то больше себя самого, вырваться из петель тугой сети исторического прошлого, подскочить выше своей головы, выдраться из хитростей разума, который, стремясь якобы к полной гармонии, в сущности-то стремится к созданию спокойной клетки для человека»; горьковский человек стремится «делать своё дело как можно лучше <...>, найти в себе суть самого себя, коренное своё, человеческое», как писал Горький К. А. Федину 20 декабря 1924 г. (4, с. 98).

Особо выделенное автором «Жизни Клима Самгина» стремление человека «найти в себе суть самого себя» почти органично для большинства горьковских героев. В полифоничной ткани произведения их голоса звучат в одной тональности. Наедине с собой Самгин размышляет: «Суть в том, что я не могу найти в жизни точку, которая притягивала бы меня всего целиком» (23–166). Ощущением отсутствия центра внутреннего «притяжения» отмечено и анархичное сознание Безбедова: «Этот

парижский пижон, Турчанинов, правильно сказал: “Для человека необходима отвлекающая точка”. Бог, что ли, музыка, игра в карты... <...> До самоубийства дойти можно. Вы идёте лесом или — всё равно — полем, ночь, темнота, на земле, под ногами, какие-то шишки. Кругом — чертовщина: революции, экспроприации, виселицы, и... вообще — деваться некуда! Нужно, чтоб пред вами что-то светилось. Пусть даже и не светится, а просто: существует. Да — чёрт с ним — пусть и не существует, а выдуманно, вот — чертей выдумали, а верят, что они есть» (23, 337–338). После самоубийства Лютова Иноков с состраданием говорит о нём: «...плутяга. Это я — от глагола “плутать”» (24–35). Очень драматичен и напряжён внутренний поиск Ивана Дронова: «Я люблю знать, и это меня... шатает. Это может погубить меня...» (24–195). В процессе работы над фрагментами книги, которая, как и у самого Горького, не будет окончена, Клим Самгин думает: «Записать — значит оттолкнуть, забыть; во всяком случае — оформить, то есть ограничить впечатление» (24–67). Это стремление Самгина не имеет ничего общего с желанием «упростить» тот или иной факт, наблюдение, мысль; напротив, он стремится воплотить своё впечатление, придав ему определённую устойчивость. Именно с моментом попытки самоопределения Самгина связан один из тех редких моментов, когда он невольно не лжёт себе. «...вы — молчите, точно иностранец. А лицо у вас — обыкновенное, и человек вы, должно быть, сухой, горячий, упрямый, — да?» — спрашивает Самгина Тося. За этим вопросом следует его прямое признание: «Не знаю» — и неожиданная аргументация: «Я ещё не познал себя». В то время как Самгин произносит эту реплику, его посещает ощущение сказанной правды (24–211, 212).

Развитие темы самопознания предполагает рассмотрение одного из концептуальных вопросов, поставленных в произведении Горького, — проблемы исхода, завершённой / незавершённой судьбы и, в связи с этим, идеи осуществлённого / неосуществлённого самоубийства, разрабатываемой автором в русле классической модели.

Для некоторых героев «Жизни Клима Самгина» самоубийство становится единственным вариантом исхода, и предысторию этих смертей автор использует в качестве одного из средств раскрытия образа того или иного героя, обнажения его внутреннего мира. Это люди «глубоко чувствующие, много понимающие, разрывающиеся между разными, порой противоположно направленными “вероучениями”, как Лютов или Антон Тагильский в конце своего пути; в романе этого типа герои — обязательно фигуры трагической судьбы...» (7, с. 165).

Единственным в романе полностью отрефлексированным и сознательно совершённым является самоубийство Владимира Лютова. «Неудавшаяся судьба, мучительная раздвоенность этого человека в какой-то мере “подсказаны” Горькому такими историческими фигурами талантливых, сложных

и безмерно противоречивых людей, как Савва Морозов и Савва Мамонтов, которых писатель хорошо знал» (6, с. 113–114). Суицидальные ноты в настроении Лютова начинают явственно звучать во время одной из его бесед с Самгиным, и отсутствие перспективы развития этого образа можно достаточно точно прогнозировать уже в этой сцене: «Бывает, что думаешь: лучше быть повешенным, чем взвешенным в пустоте» (23–315). В образе Лютова как «раздробленного» человека идея самоубийства как единственного исхода из безысходной реальности представлена как «болезнь» индивидуальности.

На протяжении всего повествования образ Лютова сопровождают часто метафоричные авторские характеристики: «изломанное, разобщённое лицо» (21–356); «вывихнутые глаза» (23–313) и т. п.; внутреннее состояние героя не искажается и в восприятии его Самгиным: «Он <...> казался ниже ростом, но как будто ещё более развинченным». Лютов — человек, живущий в абсурдном для него мире: «Вот — непредвиденный случай! Глупо; как будто случай можно предвидеть! А ведь так говорят!» (23–312). Лютов не может существовать вне процесса непрерывного душевного труда; Горький изображает эту особенность персонажа посредством введения контраста двух планов: внешнего (реального) и внутреннего (индивидуального).

«Поголстел, — сказал он, осматривая Самгина. — Ну, а что же ты думаешь, а?» — спрашивает Лютов своего собеседника, естественно предполагая и в нём возможность — и совершение подобной внутренней работы (23–313).

В диалоге с Самгиным образ Лютова приобретает глубоко трагичный оттенок ожидания чуда, которое невозможно и никогда не свершится.

«— Ты не представляешь, что поп может выдумать что-то очень русское, неожиданное? <...> нечто сугубо мрачное — от лица всероссийского мужика?»

— От мужика ты... мы ничего не услышим, кроме: отдайте мне землю, — ответил Самгин, неохотно и ворчливо.

Сморщив пятнистое лицо, покачиваясь, дёргая головою, Лютов стал похож на человека, который, сидя в кабинете дантиста, мучается зубной болью.

— Так, — сказал он. — Очень просто. А я, брат, всё чего-то необыкновенного жду...» (23, 313–314).

Разочарование Лютова автор рисует как всеобъемлющее; оно проявляется как в социальном, так и в индивидуальном плане: «Не склеилась у нас беседа, Самгин! А я чего-то ждал. Я, брат, всё жду чего-то. Вот, например, попы, — я ведь серьёзно жду, что попы что-то скажут. Может быть, они скажут: “Да будет — хуже, но — не так!” Племя — талантливое! Сколько замечательных людей выдвинуло оно в науку, литературу, — Белинские, Чернышевские, Сеченовы...» (23–317). «Талантливое племя» невольно противопоставлено Лютовым «странному племени», осколком которого является он сам: «...я давно уже привык думать о себе как

о человеке — ни к чему... Алина, Макаров и тысячи таких же — тоже всё люди ни к чему и никуда, — странное племя: неплохое, но — ненужное. Беспочвенные люди» (23–315).

Внутреннее состояние Самгина очень близко лютовскому. Не случайно его описание Горький приводит вскоре после их разговора: «В “наилучшем из миров” бесплодно мучается некто Клим Самгин. Хотя он уже не с такою остротою, как раньше, чувствовал бесплодность своих исканий, волнений и тревог, но временами всё-таки казалось, что действительность становится всё более враждебной ему и отталкивает, выжимает его куда-то в сторону, вычёркивая из жизни» (23–322). Об определённом внутреннем сходстве персонажей свидетельствует одна из речевых характеристик Лютова — его постоянное обращение к Самгину «брат». Однако подобное сходство не даёт возможности говорить о внутренней близости героев. С одной стороны, Лютов, понимая, что он непонятен Самгину, может лишь дать ему более или менее верное определение: «Слышал я, что мухи обладают замечательно острым зрением, а вот стекла от воздуха не могут отличить» (23–317). С другой стороны — не понимает, что непонятен:

«— А вообще я плохо понимаю — что тебя волнует? — спросил Самгин.

— Не верю, — понимаешь!» (23–313).

Аналогично дан Горьким и образ Самгина. «Поблёк, — думал Самгин, выходя из гостиницы в голубоватый холод площади. — Типичный русский бездельник. О попах — нарочно, для меня выдумал. Маскирует чудачеством свою внутреннюю пустоту. Марина сказала бы: человек бесплодного ума» (23–318). В сущности, не понимая Лютова, Самгин отрицает тем самым значение мучительных внутренних усилий своего собеседника («типичный русский бездельник»); безусловная искренность Лютова воспринимается Самгиным как его собственная, ставшая органичной привычка «выдумывать»; неподдельную душевную боль он называет не иначе как «чудачеством». «Я подозревал в нём что-то... своеобразное. Ничего нет... Кажется — я даже чего-то опасался в этом... выродке», — размышляет Самгин, оставаясь, впрочем, как и Лютов, верным в определениях (23–318). Совершенное отчуждение героев, при определённом сходстве их внутреннего строя, оказывается причиной невозможности достижения взаимопонимания и глубокого одиночества. Ощущение себя осколком распадающегося мира, вне всякой связи с себе подобными, приводит и к невозможности истинного диалога, оставляя Самгину лишь то, что он определяет как «диалог с самим собой».

Самоубийство Лютова становится единственно возможным вариантом разрешения пограничной ситуации, в которой он постоянно пребывает. Содержащие оставленной им предсмертной записки говорит о том, что в какой-то момент ощущение «взвешенности в пустоте» стало для Лютова более непереносимым: «Прости, милый друг, Аля, что

наскандалил, но, понимаешь, больше не могу. Влад. Л.» (24–31). Автор вновь использует глагол «понимать» (уже не в вопросительном, а в утвердительном значении) как символ того, от чего Лютов не в силах отказаться до конца, даже сознательно уходя из жизни. Алина действительно понимает это: «Милая моя душа, нежная душа моя... Умница», — говорит она (24–31). «Не любил он себя... А людей — всех, как нянька. Всех понимал. Стыдился за всех. Шутом себя сделал, только бы не догадывались, что он всё понимает» (24–32). Нечто подобное и о Самгине говорит в одной из бесед с ним Дуняша Стрешнева: «И ты всех тихонько любишь, но тебе стыдно и притворяешься строгим, недовольным, молчишь и всех молча жалеешь, — вот какой ты!» (23–189). Но так или иначе, «печальную шутку Питера Альтенберга» Самгин припоминает уже над трупом Лютова: «Так же, как хорошая книга, прочитанная до последней строки, — человек иногда разрешает понять его только после смерти» (24–33).

«Судороги ума» (24–38), в которых погибает Лютов, свойственны многим персонажам горьковского произведения. Среди наиболее ярких из них — Антон Тагильский и Константин Макаров.

Смерть Антона Тагильского, которую один из персонажей романа предлагает представить как самоубийство, — не только сознательно спланированный и реализованный акт, но и закономерный исход человека, быть может, неосознанно, но тем не менее непрерывно ищущего смерти.

«Душевный разлад испытывает он, защищая несправедливость, а до духовного возрождения поднимается в борьбе за справедливость накануне своей физической гибели», — пишет В. С. Воронин (1, с. 388). Это происходит на одном из фронтов Первой мировой войны. Обвинив нескольких офицеров в расстреле дезертиров, людей «психически невменяемых», он погибает, застреленный капитаном Вельяминовым. В разговоре с офицерами Самгин упоминает о том, что Тагильский «года за полтора, за два до этого <...> действительно покушался на самоубийство» (24–472). «Его поступок — жест отчаяния, — размышляет Самгин о смерти Тагильского. — Покушался сам убить себя — не удалось, устроил так, чтоб его убили» (24–475).

Однако истинные причины попыток Тагильского уйти из жизни не могут не напоминать мотивов самоубийства Лютова, а также некоторых мыслей и настроений Самгина. Это и страшные картины детства, открытые Самгину Тагильским во время одной из его «грязных исповедей», и ощущение «заболевания», упоминание о котором в прямом смысле приобретает и метафорическое звучание в контексте горьковского повествования, и отщепенчество: «Противно — всё: люди, понятия, намерения, дела» (24–144). В одной из бесед с Самгиным Тагильский говорит о такой своей особенности, как «строптивость характера и любовь к обнажению противоречий» (24–144). Эта черта очень роднит Тагильского с главным героем произведения.

«...помню я тебя человеком несогласным, — говорит Самгину Марина Зотова, — а такие и есть самые интересные» (23–163). Как и Самгин, Тагильский живёт в диалоге с собой: «Люблю противоречить. С детства приучился. Иногда, за неимением лучшего объекта, сам себе противоречу» (24–160). Не в меньшей степени объединяет этих двух героев «театр для себя». «Возможно, что я более, чем другие подобные, актёр для себя — другие и в их числе Гоголи, Достоевские, Толстые. <...> Это — плохо, я знаю. Плохо, когда человек во что бы то ни стало хочет нравиться сам себе, потому что встревожен вопросом: не дурак ли он? И догадывается, что ведь если не дурак, тогда эта игра с самим собой, для себя самого, может сделать человека ещё хуже, чем он есть» (24–162, 163).

Уже после его гибели Самгин вспоминает, что однажды в доме «весьма известного литератора» Тагильский говорил о том, что так сближает его, например, с Лютовым: «Я квалифицирован как юрист, защитник общества против покушений на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок, представьте, что я чувствую порядок этот враждебным мне? Уродующим меня?» (24–473). «Я — человек, который выпал из общества», — подытоживает Тагильский, и именно в ответ на эту реплику звучат пророческие (хоть, впрочем, и весьма равнодушные) слова хозяина: «В словах ваших слышен зов смерти, вы идёте к самоубийству» (24–474). Таким образом, гибель героя, изображённая автором как насильственная смерть, оказывается, в сущности, таким же осознанным действием, как и самоубийство Лютова.

Сродни смерти Тагильского гибель Игоря Туробоева в Москве в разгар событий 1905 года. «Туробоев так и должен был кончить. В сущности, он авантюрист. Такие кончают самоубийством или тюрьмой за уголовщину», — размышляет Самгин (23–11). «Скептик и “враг пророков”, не разделяющий ни одной из “господствующих идей” времени, он позволяет себе критически судить обо всём и обо всех, сам себя определяя как личность “психически деклассированную”, хотя — по определению того же Кутузова — он всего лишь “представитель вырождающегося класса”, то есть дворянства. “Дворянского”, сословного в Туробоеве немало, и в психологии, и в поведении, но мысль его ничего специфически “дворянского” в себе не несёт. Это мысль очень умного и независимого в суждениях человека. <...> “Самодвижение” его характера, его “позиции” могло бы быть в контексте развития и борьбы всех идейных течений чрезвычайно любопытным, но — Горький “прекращает” его в 1905 г., на рубеже самых главных идейных схваток. Почему? Трудно было развивать этот образ по его внутренней логике? Или слишком “опасно”? Не случайно Горький вычёркивает из рукописи самые “рискованные” высказывания Туробоева, касающиеся именно социализма, его

потенций, его судеб. Или потому, что Кутузову почти всегда нечего противопоставить убийственному скептицизму Туробоева? <...> абсолютный скептицизм — “путь Туробоева” — хорош для выявления “ограниченности” идеологий, но сам по себе — бесплоден, никуда не ведёт», — пишет С. И. Сухих (7, с. 190, 199).

В отличие от осуществлённых самоубийств Лютова и Тагильского, покушение на себя Константина Макарова остаётся неудавшимся. Причины его аналогичны проанализированному выше; однажды Макаров говорит о них Самгину, выделяя два основных момента. Во-первых, это двойственность сознания и «раздробленность» личности, свойственные практически всем горьковским персонажам: «У меня, знаешь ли, такое впечатление осталось, как будто я на лютого зверя охотился, не в себя стрелял, а в него». Во-вторых — лютовская тоска по «иному»: «И ещё: за угол взглянул... В детстве я ничего не боялся... А вот углов — даже днём боялся; бывало, идёшь по улице, нужно повернуть за угол, и всегда казалось, что там меня дожидается кто-то, не мальчишки, которые могут избить, и вообще — не реальное, а какое-то — из сказки. Может быть, это был и не страх, а слишком жадное ожидание не похожего на то, что я видел и знал... Возможно, что ждал я того, что было мне ещё не знакомо, всё равно, хуже или лучше, только бы другое». Неудачная попытка сознательно уйти из жизни обрекает Макарова на существование в экзистенциальной ситуации: «А теперь за все углы смотрю спокойно, потому что знаю: и за тем углом, который считают самым страшным, тоже ничего нет» (21–323).

Вариант суицида как окончания жизненного пути Самгина пунктирно обозначен Горьким уже в третьем томе произведения, когда главному герою

приходит «обидная мысль»: «А ведь я могу кончить самоубийством» (23–277, 213). Горький, видимо, не колебался и не обманывался в конечном исходе Самгина как социально-исторического типа русского интеллигента. «Разумеется, я не доживу до “царства свободы”...», — размышляет Самгин (24–15); это предчувствие посещает его после завершения Московского восстания. Одним из финалов Самгина Горький мыслил также его самоубийство: «Хочу заставить Самгина покончить с собой...» (5, с. 29). Итак, в решении вопроса пути героя Горький допускает два варианта исхода: отчуждение человека и его фактическая гибель (самоубийство или «срежиссированная» смерть) или вынужденное пребывание героя в пограничной ситуации. Возможное завершение судьбы Самгина подобно остальным.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронин В. С. Фантазия и абсурд хронологического сдвига в «Жизни Клим Самгина» // Творчество Максима Горького в социокультурном контексте эпохи. Горьковские чтения 2004 г.: Материалы Международной конференции. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета, 2006.
2. М. Горький. Полное собрание сочинений: В 25 т. Художественные произведения. Т. 23. — М.: Наука, 1974. В тексте статьи ссылки на том и страницу даются по указанному изданию.
3. М. Горький. Полное собрание сочинений: В 24 т. Письма. Т. 16. Март 1926 — июль 1927. — М.: Наука, 2013.
4. М. Горький. Полное собрание сочинений: В 24 т. Письма. Т. 15. Июнь 1924 — февраль 1926. — М.: Наука, 2012.
5. Минц И. И. Беседы с А. М. Горьким // Новый мир. 1970. № 10.
6. Овчаренко А. И. Роман-эпопея М. Горького «Жизнь Клим Самгина». — М.: Художественная литература, 1965.
7. Сухих С. И. Заблуждение и прозрение Максима Горького. — Нижний Новгород: Изд-во «Нижний Новгород», 1992.